

An abstract painting with a complex composition. The left side features a large, textured, yellow and brown shape that resembles a stylized face or a mask. The background is a mix of blue, white, and yellow. The bottom right corner is dominated by a large, vibrant green area with yellow and orange accents. The overall style is expressive and modern.

ИРИНА БОГАТЫРЁВА

S

И ДРУГИЕ
ВАРГАННЫЕ РАССКАЗЫ

Ирина Богатырёва

S. И другие варганные рассказы

«Издательские решения»

Богатырёва И.

S. И другие варганные рассказы / И. Богатырёва — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836660-4

Варган — небольшой инструмент, известный у многих народов, но не заметный на фоне более ярких явлений культуры. И всё же игра на нём — искусство, которое так же требует самопожертвования. В основе повести «S» — история реальных исторических и вымышленных персонажей, живших в разные века, чьи судьбы объединены страстью к варгану. Также в книгу вошли рассказы, иллюстрирующие историю этого инструмента в разных странах.

ISBN 978-5-44-836660-4

© Богатырёва И.
© Издательские решения

Содержание

S	6
Сон I	9
Сон II	11
Сон III	12
Сон IV	15
Сон V	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

S

И другие варганные рассказы

Ирина Богатырёва

Редактор Марина Мартынихина

Корректор Марина Мартынихина

Иллюстратор Данила Бурлак

© Ирина Богатырёва, 2018

© Данила Бурлак, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4483-6660-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга, которую вы держите в руках, состоит из двух частей: это повесть с непривычным для слуха названием «S» и сборник рассказов. Впрочем, повесть тоже представляет собой цикл новелл, соединённых одной сюжетной линией, а вместе с рассказами она раскрывает одну общую тему: историю варгана, сложную и необычную судьбу этого музыкального инструмента у разных народов, неоднозначную роль, которую он играет в разных культурах. Но несмотря на всё это, книга не историческая и не культурологическая: все тексты – художественное допущение на тему того, как могло бы быть или как это было в те или иные времена.

Тем не менее исторический элемент присутствует во всех текстах, причём рассказы как бы добавляют и расширяют материал повести, уводя читателя в доисторические времена. Конечно, это реконструкция, не претендующая на достоверность: никто теперь не узнает, кто и для каких целей делал варганы в Новгороде, о чём говорили музыканты на улицах Вены. И в повести, и в рассказах реальные исторические персонажи (Кристен Форберг, Карл Ойленштайн) действуют наряду с вымышленными. Но реальность входит в эти тексты и неожиданными путями. Так, повесть при авторском исполнении сопровождается мелодиями на варгане, сохранившимися с давних времён, как бы расширяя границы художественного восприятия (правда, оценить это соединение текста и музыки смогут только слушатели). В рассказах же реальность представлена также голосами настоящих курских музыкантов, переданными с этнографической точностью.

Как уже было сказано, повесть объединяется общим сюжетом, но и для рассказов есть такой общий элемент – помимо самого варгана, конечно. Чтобы не открывать читателю все карты заранее, скажу только, что этот элемент – смелое авторское допущение о том, что могло бы стать причиной распространения варгана в мире. Элемент тем более фантастический, ибо доведён до своего практически абсурдного завершения.

Это первая книга об истории варгана на русском языке, пусть и не научная, а художественная, но уже в этом её ценность. Она, безусловно, будет полезна тем, кто играет на варгане, так как позволяет соприкоснуться с живым прошлым этого инструмента, проследить, насколько глубоко он уходит вглубь истории. Тем же, кто не знаком с варганом, будет интересно открыть для себя новую страницу в мировой культуре, не самую известную, но от этого не менее любопытную.

Владимир Марков

варганист

S

Повесть для чтения с варганом



Я никогда не верил во всякого рода чертовщину, всегда считал себя человеком рациональным. И потому всё, о чём я хочу сейчас рассказать, до сих пор кажется мне случившимся не со мной и не сейчас, а в каком-то ином времени – восемнадцатом, скажем, веке, с неким Кристеном, или неким Михаэлем, или ещё кем-то, но точно не со мной. Потому что я – это я: живу в двадцать первом веке и работаю системным администратором в музейном ведомстве. Хотя мне всегда хотелось верить, что отладкой сетей занят не я весь, что часть меня остаётся свободной от мертвенного дыхания железа и занята совсем другим – музыкой, к примеру.

Впрочем, такое разделение – не совсем честный автопортрет; потому что даже если какой-то человек и похож на грецкий орех, состоящий из двух половинок, скорлупа у него должна быть одна. Так и со мной, и эта самая скорлупа, это обводное поле, собирающее мою жизнь воедино, – моя страсть к предметам и музыке: к предметам музыки и музыке предметов, если сказать точнее. Быть может, именно поэтому меня занесло работать в музей, а дома у меня собирается мой собственный, скромный, но любимый музей музыкальных инструментов.

Правда, я плохой коллекционер. Потому что хороший коллекционер – это тот, кто собирает всё по своей теме. Только тогда в его сети среди тонн шлама попадётся две-три жемчужины. Или же напротив, хороший коллекционер – тот, кто умеет ставить жёсткие рамки, заранее отделяет зёрна от плевел, и тогда его коллекция будет пусть и небольшой, зато сплошь из драгоценностей. Самая экстравагантная коллекция такого рода, известная мне, – это контрабасы в мастерской одного моего приятеля, скрипичного мастера. Сам он на них не играет, да и инструменты эти уже не звучат: эта коллекция сломанных контрабасов, контрабасов с лопнувшими деками, треснувшими боковинами, разломившимися грифами. Это коллекция инвалидов, кладбище мамонтов, но мамонтов заслуженных, так сказать, боевых товарищей, и именно поэтому добрая судьба забросила их не на свалку, а в мастерскую к моему приятелю. В общем, в его отборе есть логика, а логика – это как раз то, чего моей коллекции никогда не хватало.

Зато, в отличие от той, у меня все инструменты в прекрасном состоянии, любой можно взять и сейчас же играть. Собственно, в этом и состоит единственное ограничение, которое я себе ставлю: я собираю не какие-то определённые инструменты и не старинные инструменты, я собираю только то, на чём играю сам. Именно поэтому в ней нет ударных – они никогда меня не интересовали, зато большое собрание струнных, смычковых, а главное – духовых, от валторны до крошечного глиняного свистка, включая пятнадцать саксофонов. Я люблю то, во что можно вложить душу.

И потому я был обескуражен, когда мне позвонил один знакомый археолог и сказал, что привёз мне подарок из экспедиции, а именно – старинный варган. Я попытался было возразить, что у меня он вряд ли будет оценён и не лучше ли такую вещь сдать в музей, однако мой друг сказал, что в музее этой штуке делать нечего, что это игровой инструмент и никому больше он

не мог бы его передать, как только мне. «Но я не играю на варганах», – попробовал я последний аргумент. «Ничего, – отмахнулся приятель, – дурное дело нехитрое», – и обещал быть у меня на следующий день к семи.

– Тут, видишь ли, уж больно много с ним странностей, – говорил он, сидя у меня на кухне, закинув ногу на ногу и качая в воздухе носком. – Во-первых, заметь, как эта штукавина сохранилась. Никаких деформаций, даже струна цела!

– Струна? – не понял я.

– Ну, вот эта штука, за которую дёргать. Видишь, она целая, а это редкость!

– А какого он века? – спросил я, разглядывая варган – чуть угловатой формы, с двумя дырочками в раме и вензелем в виде латинской S с бородками на концах, как на рыболовном крючке. Выглядел он так, будто его выковали не раньше чем вчера.

– Да чёрт его разберёт! – отвечал мой приятель, нервно потирая ладони. – Тут опять непонятность. Брили мы его в казацком остроге, в Красноярском крае. Острог сгорел в середине девятнадцатого, там мало что вообще уцелело, он, пожалуй, один. Но по виду не наш, какой-то иноземный, я сверялся с каталогом. Состав железа хитрый, наши спецы мудрили-мудрили да и плюнули, не смогли определить.

– Что-то вы слишком серьёзно изучали такую простую вещь, – заметил я. – С чего бы вдруг?

Я шутил, но мой приятель посмотрел на меня с подозрением:

– А ты внимательный, да? – сказал он и вдруг склонился ко мне и заговорил полусшёпотом: – В том-то и дело: я же говорю, с ним чертовщина творится. Он, понимаешь ли... он светится по ночам!

– Светится? – я подумал, что ослышался, но мой друг был серьёзен.

– Светится, да. Правда, не всегда. Мы проверяли, радиации никакой. Ну, если боишься, я тебе подробное заключение из лаборатории пришлю, только смысл один: светиться в нём нечему. Железо и железо. Однако же светится, чёрт бы его побрал! Все видели! Это ещё в лагере началось, – продолжал он, немного успокоившись. – Мы его там одному волонтеру отдали, молодой такой парень, он играть умел. Ну, как играть: бренчал у костра, нервы на палец наматывал. А потом стал говорить, что по ночам кто-то вокруг его палатки ходит. Мы: кто там может ходить, кругом тайга, лисы. А он: нет, человек. На левую ногу прихрамывает. Он выглянет из палатки – никого. В экспедиции у нас хромых не было, подумать не на кого. А он своё: ходит и ходит. Понятно, от него отмахивались. Ну, выпил парень... А одной ночью он весь лагерь на уши поднял. «Светится, – орёт, – светится!» Оказалось, варган стал светиться. Несильно так, будто его фосфором натёрли. Ну, мы его, естественно, сразу отобрали и в лабораторию.

– А до этого не светился? – перебил его я.

– Нет. И потом не стал. Как на нём играть перестали, он больше ни разу не светился.

Я про себя усмехнулся. В моём кругу было достаточно археологов, и я замечал, что при всём рационализме и изрядном цинизме, который отличает людей этой профессии, все они какие-то застарелые романтики и верят порой в такую ерунду, что и говорить стыдно.

– Так что, – сказал приятель, – напряг я тебя? Не возьмёшь теперь?

– Нет, ну почему же, – поспешил я, лишь бы он не решил, что я отнёсся к его суеверию серьёзно. – Оставляй, конечно. Такой подарок необычный. Спасибо.

В конце концов, рассудил я, пора осваивать новый инструмент, а варгана у меня ещё не было: из обертоновых я играл только на флейте.

– А что, – спросил я моего археолога уже у двери, – пока он у тебя хранился, возле квартиры никто хромой не бродил?

– Нет, что ты! – рассмеялся он. – У меня же не тайга. А кроме того, – добавил, подумав, – я ведь играть не умею. – И посмотрел на меня как-то странно, но ничего не добавил и закончил: – Ладно, звони, если что.

Я кивнул и закрыл за ним дверь.

Я хорошо помню тот вечер: был июнь, солнце уже садилось за спинами высоток. Я стоял у окна и ждал домой Катю. В руках крутил новый экспонат моей коллекции, но думал не о нём. Я думал о Кате, о работе, о новой мелодии, которую разучивал тогда на саксофоне. Во дворе журчало лето, и настроение у меня было прекрасное.

И я, конечно, не знал, что это будет последний спокойный вечер в моей жизни, что всё скоро начнётся, если уже не началось.

Потому что той же ночью я увидел первый сон.

Сон I

Я весел и пьян. Разухабистая, шальная радость застилает мне очи. Я пьян, и вокруг меня все так же пьяны, все так же красны: разбитные рожи, ужасные видом, но мне в радость, умиляют до слёз, я люблю эти рожи, как бы родного брата, верно, не любил, будь у меня брат. И все они меня знают, и я знаю их всех, потому что это любимый мой шинок, и не придорожный какой-нибудь кабак, а шинок Аксиньи.

А вот и она: выплывает из волн шума и дыма и ставит на стол перед красной рожей, с которой я сижу подле, кружку пива. Глядит на меня с неприязнью, но я будто бы того не замечаю, хватаю её за мягкую белую ручку и кричу:

– Ах ты, Аксиньюшка-душа, ты ж наша услада! Зачем это пиво, к чему пиво? Горилки, всем неси горилки!

Рожи кругом шумят громче и подвигаются к нам ближе. Аксинья выдёргивает ручку и глядит на меня совсем уж зло:

– Явился опять, прорва ты, ненасытная харя! Явился, я только без тебя вздохнула! А где же ты был, пьяная твоя душа?

Краем сознания, самым околотком его, которым мы держимся за реальность даже в самом бредовом бреду, я понимаю, что говорит она со мной по-украински, но это меня ничуть не смущает, я сам отвечаю ей так же, и все вокруг размовляют, да и шинок этот не мог бы явиться мне из памяти, а быть ему полагалось бы лет за двести, а то и более до моего рождения, – но всё это не трогает меня, сон катится дальше, и я говорю Аксинье:

– Где пропал? Так известно где: на торгах, дела поправлял.

– Поправил ли?

– А то: справил себе у одного ляха дрымбу, какой ещё не было у христианина.

– Тю! Дрымбу! – Аксинья плещет руками. – Он себе справил дрымбу! Пьёт у меня в долг, а себе купил железяку! А ну, выкатывайся, покуда цел! Не получишь больше у меня и с напёрсток!

И напирает всеми своими телесами, и уже тащит к двери, выставила почти на улицу, а красные рожи ржут нечеловеческими голосами, но я увёртываюсь, проскакиваю обратно и кричу:

– Да погоди ты, девка, что так разъярилась! Ты ж ещё не чухала той дрымбы, а уж судишь. Дрымба особая, непростая. Я с нею на свадьбах играть стану и столько добуду денег, что и тебе долг верну, и дом себе поставлю, и тебя, дуру, ещё возьму в жёны!

– Эх размечтался! Да кто ж тебя пустит хорошим людям на свадьбу? Тебе одно разве у цыган играть!

– На что мне цыгане, меня и наши хлопцы звать зачнут, как плясать захочут. А не меня, так ради моей дрымбы. Потому что она непростая, заговорённая: кто её услышит, сразу в пляс пускается, остановиться не может.

– Да всё ты брешешь, залил глаза, хоть совесть не тронь!

– Не веришь? Не веришь, Аксинья? Давай тогда на спор: слово скажи, что всех здесь напоишь за так, если я всех сейчас утанцую. А нет если, то... то... то я буду работать у тебя, пока не верну долга. Идёт?

Толстуха думает, уперев руки в боки. Мысль медленно движется по её белому лицу, шевелится в блёклых глазах. Наконец она машет рукою:

– Давай, всё одно взять с тебя нечего, так хоть за свиньями будешь ходить.

Но она закончить не успевает, а я уже беру дрымбу.

Ах, какая то дрымба! Любо в руках подержать. Я ношу её вместо ладанки на шее, благо есть две дырочки в ней для шнура. Сама она маленькая, рамка с углами, а на рамке – печатка

мастера: латинское S, и на концах – как бы два рыболовных крючка. А звучит уж так сладко, так дивно, что, раз услышав, уже не подумаешь ни о какой другой.

А как заиграешь на ней, так и мёртвому плясать захочется, не то что пьяным этим харям. Они все сразу вскинулись, гикнули, запрыгали и пошли выделять кренделя кто во что горазд. А дрымба эта до того хороша, до того легка и певуча, и играется на ней, как дышится, и словно кто в ухо тебе шепчет: играй, дрымбарь, играй шибче, играй лучше, чем можешь, как и не можешь, играй, не дрымбу ты – душу свою играешь, и её, душу свою, рожаю этим сейчас выдаёшь.

А они корчатся, дёргаются, пляшут, и уж пол ходуном, и весь шинок ходуном, и Аксинья тоже выплясывает, такая же красная, как и все, – но я про них уже и забыл, я себя забыл, глаза закрыл и играю, играю, и всё хочу лучше, лучше, сам не зная уже, во спасение ли своей душе или на погибель...

* * *

Я проснулся от этого сна посреди ночи с сильно бьющимся сердцем. В голове звенела музыка. Аккуратно, чтобы не разбудить Катю, я поднялся с постели и пошёл на кухню, но мой взгляд остановился на столе, где лежал подаренный варган. Но было совершенно темно, и я ничего не различил там. Уже на кухне, выпив стакан воды и успокоившись, я усмехнулся собственным мыслям: я ведь и правда поверил своему приятелю и ждал, что железка станет светиться.

Я вернулся в постель и спокойно проспал до утра, но перед пробуждением увидел ещё один сон, даже более яркий и детальный, чем предыдущий, – со средневековым городом, оборванцами и виселицей. Но я счастливо забыл его и не вспоминал до тех пор, пока не взял в руки тот самый варган.

Я был тогда на работе. Варган захватил с собой, порадовавшись, что наконец-то у меня есть инструмент, который умещается в кармане. Весь день меня так и подмывало достать его и попробовать сыграть, хотя я совершенно ещё ничего не умел. Но кто-то словно нашёптывал, что у меня получится, что у меня уже достаточно опыта, чтобы освоиться с таким простым инструментом. Я одёргивал себя, пытался думать только о работе, хотя мне и стоило большого усилия не бросить всё и не убежать в музейный сквер, чтобы, уединившись, вдоволь наиграться. Сильнейший соблазн разъедал душу, это был настоящий зуд, желание получить результат практически без усилий, без тех лет репетиций, которые уходят на другие инструменты, – а просто взять и заиграть. Я сам не ожидал такого от себя. Ведь я почитал себя музыкантом, пускай и любителем, но, во всяком случае, мысль, что без труда музыка не даётся, со мною всегда жила. И я сдерживался изо всех сил – вплоть до самого обеденного перерыва.

К тому моменту я успел пролистать интернет в поисках полезной информации, и когда мне удалось наконец уединиться с варганом в музейном сквере, я уже чувствовал себя вооружённым теорией до зубов. Я взял его и, припоминая всё, что вынес из сети, издал первый звук, затем второй – и получил по зубам. Несколько обескураженный столь нелепым сопротивлением такого примитивного устройства, я продолжил тем не менее это занятие – и не прошло часа, как я, с окровавленными губами, немеющим горлом и пальцами, сумел подобрать на слух первые ноты гаммы, а потом поиграть что-то простое и незамысловатое, что крутилось в памяти с утра.

И тут словно у меня в голове включили свет: я вспомнил оба сна, увиденных той ночью. Вспомнил, вздрогнул – и отнял от губ варган. Сидел и смотрел на него, не понимая, что бы это всё значило, – но твёрдо уверенный, что именно он, этот самый инструмент снился мне сегодня. И если первое видение было в целом забавным, то второе поразило меня, лишь только проявилось в памяти.

Сон II

Я стою в толпе, на грязной и узкой городской улице. Кругом бегают оборванные дети, шныряют нищие, уродцы и больные, месят помои грубые башмаки горожан. Хотя время это отстоит от меня нынешнего по меньшей мере на три века, вся эта обстановка меня не смущает: по закону сновидения я местный, я – не я, а некий Михаэль Вейла, матрос, ненадолго оказавшийся в этом городе, пока его судно грузится в порту.

Вдруг слышится скрип колёс и чавканье копыт, а потом – такой неожиданный, мелодичный и приятный звук варгана. Прохожие спешат разойтись с дороги. Хозяйки, с тяжёлыми корзинами идущие с рынка, ставят их прямо в грязь и крестятся. Зеваки застывают кто где, ожидая, когда телега проедет мимо. Я не понимаю языка, на котором здесь говорят, но догадываюсь, что это везут осуждённого к виселице – её видно на площади, где уже собирается толпа, предвкушая любопытное зрелище.

Выворачивает телега; на ней в железной клетке сидит измождённый человек в цепях и играет на варгане. Он очень оборван и худ, хотя раньше явно обладал приятной внешностью и недюжинной силой. «*Фангьен, фангьен!*» – звонко кричат дети, бегая вокруг клетки, и бросают в неё камни и комья глины. Правда, прутья столь часты, что снаряды эти не попадают в цель. Сам же узник, кажется, не замечает их. Он отрешён, и некая высшая, потусторонняя решимость отражена у него на лице. Он играет, закатив глаза, играет что-то меланхоличное и скребущее душу, так что я неожиданно для себя вдругдвигаюсь за ним следом.

Не знаю, что меня приковало больше: вид этого не сломленного бедой человека, его лицо или его музыка. Но я иду, не сводя с него глаз. Телега выезжает на площадь. До виселицы уже немного. Будто почувствовав это, узник прекращает играть, открывает глаза и оглядывается, как человек, просыпающийся ото сна. Но он не глядит на виселицу. Он замечает меня и глядит так, что я припускаю быстрее. Он не сводит с меня спокойных тёмных глаз, глаз человека, познавшего жизнь, разочаровавшегося в ней и не боящегося с нею расстаться.

Но вдруг будто бы что-то в нём теплится. Он чуть подаётся вперёд, к решётке, просовывает руку и бросает мне свой варган. Не отдавая себе отчёта, я вскидываю руку и ловлю его на лету. А узник тут же возвращается в прежнюю позу, взгляд его потух, чтобы уже не разгореться.

Я останавливаюсь. Кажется, мне только и было нужно, что получить этот дар. Стою и провожаю глазами телегу, толпу мальчишек, бегущих за ней, клетку и фигуру узника. Слышу позади себя окрик и свист плётки. Вовремя успеваю отскочить, чтобы не попасть под копыта откормленных лошадей, везущих богатую карету. Оборачиваюсь – телега уже достигла помоста и виселицы, но того, что будет дальше, я не хочу видеть. Разворачиваюсь и пускаюсь прочь по лабиринту узких и грязных улиц, сжимая в кулаке свой варган.

Сон III

Было бы нечестно сказать, что меня насторожили эти видения. Повторюсь, я никогда не был суеверным человеком. Подивившись тому, какие яркие и непредсказуемые образы создал мой мозг, я их скоро забыл.

Однако о варгане не забывал. Та страсть, которую я испытал в первый день, меня не отпускала, поэтому я продолжил искать в сети всё, что мог, и каждый день, в любой удобный момент, продолжал заниматься. Надо сказать, у меня получалось всё лучше и лучше, варган осваивался на удивление легко – не в пример всем предыдущим инструментам, над которыми приходилось потеть часами в течение полугода, прежде чем получалось издать хотя бы маломальски приятные звуки. Одним словом, я был окрылён настолько, что забросил все остальные занятия и уже через несколько дней сумел сыграть что-то простенькое, вроде серенького козлика, чем остался страшно доволен.

И в ту же ночь, как специально, я увидел третий сон.

Снова трактир, но не тот, что в первый раз. Трактир приморский, в нём готовят рыбу так, что дышать нечем даже во сне, и полон он гостевого люда – торговцы разных наций, мореходы и просто бродяги. Один из них, человек, побитый жизнью, как шхуна штормами, сидит в углу на перевёрнутой бочке и играет на варгане, будто не замечая ничего вокруг. Без всякого сомнения, с лёгкостью, доступной лишь сновидению, я признаю в нём Михаэля Вейла, того самого, кем был в прошлом сне. Я же сейчас – бесплотный дух, тень, лёгкий сквозняк, я ничьими глазами вижу и ничьей головой понимаю происходящее. Однако не понимаю языка Михаэля и других эстов, подходящих к нему. Они что-то спрашивают, подтрунивают, иногда кидают монетку в глиняную кружку у его ног, а иногда подносят стакан, а Михаэль раскланивается почтительно и серьёзно, как человек, давно живущий за чужой счёт, но не утративший собственного достоинства. Зато мне не составляет труда понять разговор поляков, сидящих в двух шагах от него, но почти не слышащих музыки.

Двое из них – пановья, люди торговые, чьи глаза меняют цвет в зависимости от того, как много золота у их собеседника в кармане. Сейчас они тусклые, как хмурое туманное утро над пристанью, потому что третий, сидящий с ними за столом, беден, как крыса, и не меньше этих животных знает потайных путей и обходных лазов к самым дальним закоулкам. Он контрабандист, у него худые пальцы и кривой нос, а лицо меняет выражение так быстро, что кажется, будто разговариваешь с водой. Его тело имеет неопределённый размер и форму, оно может раздуваться или сжиматься по прихоти хозяина, потому что порой он пронесёт мимо таможи на себе целые лавки отличной ткани; в каблуках у него умещаются серьги, цепочки, жемчуга и другие сокровища, всегда и отовсюду он уходит незамеченным, а рукава его набиты языками, подхваченными во всех портах. Словно фокусник, он вытаскивает из рукава не красный платок, а язык, нужный к месту и времени; поэтому с ляхами он говорит по-польски, да так, что они уверены, будто мать его – добрая тётушка из Кракова.

Однако дело их сделано, и они быют по рукам. Следующим утром, на мутном рассвете этот человек без имени будет на дороге в Петербург, а с ним – столько отрезков итальянской парчи и оборок, столько страусиного пера и шёлковых лент, сколько хватит обшить целый полк дворянский дочек, а заодно – их стареющих, густо пудренных мамаш. Пане же поедут налегке, таможня, которая держит сейчас их судно на приколе, не узнает, куда за одну ночь делся с борта товар. И хотя пане уже отдали человеку-крысе тугой кошелек, в котором и дорога его, и постой, и две кружки пива, и одна белобрысая немолодая горничная, – их глаза всё равно не меняют цвет, потому что они не верят этому человеку. Однако сам он уже весел и пьян, и тем более пьян, чем более весел, пусть и не выпил он ещё ни глотка, но деньги уже его греют.

Он желает порадовать добрых панов, он крутит головой, но не находит ничего чудней, чем Михаэль на перевёрнутой бочке.

– А видели ли пане какого другого музыканта, кто так бы ладно играл на пармупилле? – вопрошает он.

– Пане не знают, что такое пармупилль, но на драмбуле этот проходимец играет изрядно.

– О, это Михаэль Вейла, он известен всему Ревелю!

– Чем? Пьяной своей харей?

– Он известен тем, что играет на пармупилле так, что черти пляшут и оттаптывают друг другу хвосты. За это своё умение его выгнали с «Золотой Марии», на которой он ходил пятнадцать лет, и другие капитаны не берут его на борт.

– Отчего же?

– Никто не хочет работать, когда он играет, а играет он всё время. Матросы забывают о парусах, офицеры – о пушках. И сам он ничего больше не делает, как только играет.

– Видимо, он большой лентяй. – Пан, что постарше, пьёт из своей кружки и смотрит на Михаэля. Человек-крыса делает лицо сладкое и хитрое и склоняется к нему через стол:

– То ли, пане! Говорят, Михаэль этот имеет дело с дьяволом! Правды не знаю, но одно точно: за грош он сыграет любую мелодию, хоть бы услышал её впервые.

– Ну, этому я не поверю, – машет рукой молодой. – Драмбула – простая железка, на ней что ни сыграй – всё звучит одинаково.

Стали спорить. Михаэль тем временем, не понимая их спора, продолжает играть, и играет он разное, так что молодой пан вскоре вынужден признать: да, играет разное, но только то, верно, что хорошо знает, а чего не знает, не сумеет сыграть.

– Испытайте его прямо сейчас! – восклицает человек-крыса и вмиг, выхватив из рукава новый язык, подбегает к Михаэлю и о чём-то быстро просит его. Тот прекращает играть и смотрит на панов. – Спойте! – кричит человек-крыса, и молодой пан теряет: что же спеть? Но старший находится первым: он уже напевает песню, которую знает с детства, а Михаэль, послушав один куплет, играет, и играет так, что пану хочется петь громче и лучше – и тем лучше играет эст.

А когда оба закончили, Михаэль вдруг встаёт и подходит к их столу. Молодой пан роется в своих кошельках, нащупывая самую мелкую из мелких монет, но Михаэль, не глядя на него, протягивает старшему свой инструмент и, процедив несколько слов сквозь сухой рот, привыкший играть на варгане, но не разговаривать с людьми, разворачивается и уходит.

Пане застыли, глядя на оставленную на столе драмбулу.

Человек-крыса смотрит на хлопнувшую дверь, впервые забыв поменять лицо: оно так и светится недоумением, как он его оставил.

– Что он сказал? – спрашивают его пане.

Но человек без лица не сразу находит нужный язык, они все спутались у него в рукавах, как шёлковые ленты. Наконец он произносит: «Он сказал вам, добрый пан, что у вас золотые уши и вы первый человек, кого он встретил, кто слышал всё, что он сыграл».

Старший молчит, а молодого всё терзает любопытство:

– Но отчего он оставил свою железку? Зачем она нам? Не думает ли он, что пан станет играть на ней сам, как жалкий пропойца в трактире?

– Нет, верно, не думает, – отвечает человек-крыса. – Он просил пана продать этот пармупилль кому-то, кто будет сильнее его.

– Кому же? – не унимается молодой, а старший молчит, будто всё понял.

– Вот этого я не знаю. Но он сказал так: «Рогатый скоро уже придёт, а лучше я не сыграю».

– Ха-ха! Какая история! Видно, тебе придётся теперь выполнить волю старой собаки, которая собралась помирать! – смеётся молодой пан и сосёт своё пиво, а старший спокоен. Аккуратный человек и рачительный торговец, он бережно убирает драмбулу в платочек

со своим вензелем и кладёт в карман. Играть он не умеет и про историю эту никому не расскажет. А потому только многими годами позже, не он уже, а его сын, найдя вдруг в старых запасах битого молюю страусинового пера этот платочек с вензелем, не придумает ничего лучше, чем продать ненужную драмбулу за грош хохлу в торговый день.

* * *

Есть люди, которые не чувствуют вкуса кофе, – ничего, кроме горечи; есть другие, которые даже в самых элитных винах не ощущают ничего, кроме алкоголя; и есть третьи, кто не слышит в варганной музыке ничего, кроме дребезга. Все они лишены того удовольствия, которое скрывается за грубой оболочкой, но присутствует так же ненавязчиво, но ощутимо, как счастливый и забытый сон – за шершавой тканью повседневной яви.

О том, что первые два типа людей существуют, я знал давно; в существовании же третьего имел возможность убедиться, стоило мне только показать варган и новую, захватившую меня музыку моим друзьям-музыкантам.

Надо сказать, что все они были хорошие музыканты – каждый в своей мере. Некоторые были профессионалы, получившие образование и не имевшие иной специальности, другие же, как я, просто находили в музыке отдушину, но это не мешало нам играть вместе и давать концерты.

Однако когда я принёс варган, у всех у них лица выразили одно – недоумение. К тому моменту я уже успел чему-то научиться и мог изобразить на варгане некоторые известные мелодии. Как я и говорил, он давался мне на удивление, соблазнительно легко, а потому захватил меня целиком, до нервной дрожи: впервые мне стало казаться, что совершенство, к которому я стремился в музыке, достижимо. Это чувство было сильнее меня, я жил им, погружался в него всё глубже – и тем сильнее было моё разочарование, что никто – просто никто! – из моих друзей ничего подобного не услышал в том, что я сыграл.

Но я списал это на свою неопытность и тут же поставил им записи варганистов, которыми на тот момент восхищался. Я ждал, что они хором скажут: а, ну, это другое дело, учись, бро, и ты так сможешь, – но снова лишь призрачное блуждание было на лицах и ничто – совсем ничто! – не шевельнулось в их душах.

«Мы репетировать будем?» – сказал наконец один, и все стали доставать инструменты. Я стоял как оплётанный.

«Не обижайся, бро, – сказал другой и дружески похлопал меня по плечу. – Но это же всё-таки примитив, одна нота».

Одна нота. Одна нота! Там, где я слышал богатство, бездну обертонов, где я буквально тонул и тратил все свои силы единственно на упорядочение этого хаоса, этой первородной стихии звука, там для них была одна нота! Я почувствовал себя слышащим среди глухих, единственным зрячим в городе слепцов. И это меня спасло. Да, я по-прежнему был раздавлен, обижен, зол – но над всем этим вдруг проснулось моё самолюбие: налицо было моё явное отличие от всех, и отличие это надо было использовать в свою пользу.

Душимый столь разными эмоциями, я пришёл после репетиции домой и до поздней ночи просидел с варганом. И потому совсем не удивился, когда увидел такой вот сон.

Сон IV

Меня зовут Александр Турчанинов, я недавно получил звание поручика и направляюсь в Сибирь для того, чтобы принять командование неким казачьим полком в дальнем остроге. Снаряжали меня не меньше, чем в ссылку, но я полон самых радужных надежд и думаю не позже чем через три года вернуться в Петербург в новом звании, полученном за отражение набегов дерзких инородцев и укрепление рубежей.

Полный таких наивных мечтаний, я прогуливаюсь со своим старинным другом по улице какого-то городишки – во сне я знаю, что это Оренбург, – и делюсь с ним тревогами, достаточно ли ещё в Сибири дерзких инородцев, или всех успели утихомирить. Мой товарищ смеётся; сам он попал на Урал два года назад и уже успел узнать вкус служилого хлеба в приграничных крепостях. Он смеётся надо мной, я начинаю петушиться, на что он смеётся только громче, потом дружески хлопает меня по плечу и говорит:

– Будет, брат. Ты всегда был романтиком. А всяческие истории из жизни простых людей любишь ли до сих пор?

Я нерешительно киваю, не понимая, к чему он клонит. Он же говорит:

– Пойдём тогда со мной. Я покажу тебе личность, во всех смыслах примечательную!

И, не дав мне опомниться, он тащит меня к собору, по дороге расписывая эту личность чуть ли не князем всех блаженных и принцем юродивых.

– Сидит он, представляешь ли, в одной дерюге во всякие морозы. Немыт всю жизнь и нечёсан, так это разве беда? С собаками шелудивыми лучший друг и всё поминает святого Лазаря, которому псы язвы лизали. Но это было бы ещё не так примечательно, подобных-то типов мало ли встретишь в наших городах? Однако у этого есть особенность: он бойко играет на зубанке. Ну, знаешь зубанку? Так вот, он как заиграет, прямо заслушаешься, никакой тебе балалайки не надо.

– Так он тем, пожалуй, и живёт? – предполагаю я, но друг мой машет руками:

– Если бы! Чем он живёт, я не знаю, но стоит сунуться к нему с пятаком, заплатить за эту его музыку, он бросает играть и начинает тебя упрашивать за этот же пятак варган сей у него купить. А уж каких ты историй от него за это время слушаешься! Будто он грехи всего мира, аккуратно собранные в этом варгане, отмаливает своей жизнью. Но если ты у него заберёшь инструмент, так и груз с его плеч вон, пойдёт он жить, как все люди... Да о том он сам тебе лучше расскажет. Мы уже пришли.

И верно, мы выходим на большую торговую площадь, пустую в тот час. В конце её стоит белый храм, а на паперти виднеется жалкая фигура юродивого, состоящая, как кажется, только из одних лохмотьев. Оттуда же доносятся звуки варгана, и чем ближе мы подходим, тем яснее я убеждаюсь, что товарищ мой прав: играл этот доморощенный Ойленштайн¹ на удивление бойко и ладно. Я уже понял, что не слышал никогда ничего подобного, хотя варган слышать мне доводилось, однако всё это был лязг и стук по сравнению с его музыкой. Она была настоящая, живая, и удивляла ещё тем, что таила в себе, как казалось, больше, чем я мог бы услышать, а исполнитель – сыграть. Странное томление охватило меня.

Мы приблизились. Музыкант всё играет, закатив глаза, и ничего не замечает вокруг. Сидит он и правда на голом камне и совсем без какой-нибудь серьёзной одежды, меж тем как декабрь, и даже собаки пытаются греться возле домов. Мой товарищ, подмигнув мне, будто говоря: гляди-ка, что сейчас будет, бросает юродивому монету. Тот приходит в себя вмиг, хищной птицей бросается на неё и оглядывается. Приметил нас – и прыгает ко мне. Он, верно,

¹ Карл Ойленштайн (1809—1890 гг.) – знаменитый австрийский музыкант, гитарист и варганист, дававший в сер. XIX в. концерты во всей Европе и известный тем, что играл на маультроммеле при английском дворе.

не заметил, кто поднёс ему дар, или же признал моего приятеля и решил, что перед ним играть свой спектакль не имеет смысла.

– Барин, добрый, купи зубанку, выручи Тараску, – заводит он.

– Отчего же тебя выручить? – спрашивает приятель, будто вместе они знают свои роли.

– Ой, грехи-грехи-грехи. Грехи тянут, душу мают. Был бы сам без греха, да лапка прилипла – всей птичке пропасть. Вот зубанка, простая штука, а сам князь Исподземельный, Семи-серный и Шестирогий своим уделом измыслил да дал нам, грешным, сей инструмент на погибель.

– Что ты несёшь? Говори внятно, видишь, гость из Петербурга, он речей твоих не понимает.

– Да чего же и не понимать? Было бы холодно, да жар нейдёт. Был как-то добрый молодец в чужих землях, собою статен, да сам не богат, и всё, что умел он, – на варгане играть да приплясывать. И так наплясался, что сказал: пусть хоть сам чёрт придёт, а я и его на варгане переиграю. А тот возьми да и приди, недалече, видимо, обретался. Давай, говорит, мил человек, с тобой по рукам бить: даю я тебе зубанку и три месяца времени. Через то время приду, станем играть, кто кого переиграет. Я тебя – отдашь свою душу, а ты меня – получишь в зубанке такие утехы, каких раньше не знал и каких в раю чистые не имеют. Били они по рукам, и так началось: варган сей до сих пор среди людей ходит, и сколько уж душ грешных к князю в карман нырнуло! Видно, никто переиграть его не смог али не решился. Мне казаки его продали, у них был один дрымбарь знатный, а так и умер, играя, успел только крикнуть: «Явился!».

Товарищ мой смеётся, а мне уже не по себе: так хорошо я представил смертельную бледность, и безумные глаза музыканта, и крик его: «Явился!». Мне не хочется больше слушать таких историй, но что-то настойчиво держит и не даёт уйти.

– А ты что же, брат Тарас? – спрашивает тем временем приятель. – И тебя, я чаю, тот князь удиенцией удостоил?

– Нет, – улыбается юродивый, и я вижу зубы его, ровные и белые на чёрном лице. – Тараска как птичка: в приход заскочил, на ризку сел, к алтарю порх – как меня поймашь? Но грешен, каюсь: и я мечтаю отведать тех усад, что завещаны в зубанке, и я, недостойный, тайную мысль имею.

– Какую же? Неужто переиграть? – продолжает смеяться приятель.

– Переиграть. Переиграть, – говорит он вдруг мрачно и совершенно серьёзно, ни тени безумия нет в глазах. – Смейтесь, барин. Разве я бы здесь сейчас был, если бы до благодати совершенства был допущен? Нет, сие ощутить – всё равно что из родника жизни испить; я же недостойн: чем ближе та черта, тем сильнее алчу того совершенства, но уходит, как песок из пальцев. Потому и молю всякого встречного: пожалей Тараску, купи зубанку, пуще железа калёного мука сия! – заканчивает, стеная, будто вспомнил роль.

Я же эту речь его слушаю, будто через колокольный звон. В голове стучит сердце, и унять не могу. И тревога, и надежда, и прежнее томление охватывает с новой силой.

– Но отчего, – спрашиваю я шерстяным ртом, – князь мира избрал такой несерьёзный инструмент, чтобы искушать нас? Или в руки ему не попала флейта или скрипка? Скажем прямо, звук приятней да и громче.

– Эх ты, барин, барин, – с досадой, устало говорит Тарас. – Верно, не понимаешь: на орудиях тех музыку сыграть просто, сама природа их создала, чтобы издавать сладкие звуки. А здесь что? Одна железка и человечье горло. На железке попробуй ещё сыграй музыку-то! Это же вызов нашей гордыне, и дьявольская гордыня должна жить в сердце, чтобы вызов такой принять!

Я больше ничего не спрашиваю. Я достаю из кошелька серебряный рубль, кладу в его огрубелую, почерневшую руку и получаю варган. Мой товарищ теряет дар речи, а я ухожу с площади, не оборачиваясь.

– Александр! Стой! – кричит приятель и бежит следом. – Подумай, зачем тебе она! Это же театр, сатира! Да погоди!

Снег скрипит под ногами, и солнце застит глаза. И когда я останавливаюсь у выхода с площади и гляжу назад, Тарас всё ещё стоит у подножья храма на коленях и тихо посылает мне вслед крестные знамения.

* * *

Я очень хорошо запомнил тот сон: и залитую морозным солнцем площадь, и разговор с божьим человеком – он так близок и понятен был мне.

И всё же сильнее поразил меня другой сон, который я увидел день спустя, после того, как со всей ясностью понял, что мой новый инструмент наконец зазвучал, как я того желаю. Он не просто издавал звук, приятный мне; не просто мог наполнять воздух мелодичным лепетом; но у меня наконец полилась музыка, которую я хотел, которую я и искал.

К тому моменту уже несколько дней я бился о невидимую преграду, которую никак не мог преодолеть. Я знал, что находится за нею: то состояние, когда инструмент становится наконец весь твоим, а ты с ним – совершенно свободным и можешь просто выражать себя, свои эмоции, своё сердце. Я уже проходил эту высоту со всеми другими инструментами, которые мне доводилось осваивать, и знал, чувствовал, что сейчас стою на том же пороге. Однако варган оказался неожиданно упрямее и сложнее, чем я ожидал. Если до этого он поддавался мне с пьянящей лёгкостью, то теперь вводил в ступор. Конечно, я играл ещё плохо, но и то малое вдруг перестало получаться. Я отчаивался, злился, загонял себя так, что закладывало уши, кружилась голова и в кровь были сбиты губы. Но всё оставалось по-прежнему.

В тот вечер я играл, вернувшись с работы, и не замечал ничего. Я не слышал, как пришла Катя, как она звала меня ужинать; я играл как полоумный. И вот наконец, в тот момент, когда отчаянье было совсем близко, – что-то во мне сломалось, и варган зазвучал.

Он заиграл просто и чисто, как будто сам, без моего усилия. Без изысков, без усложнения – но он играл так, как мог бы любой другой, привычный нашему уху инструмент, и музыка его слышалась отчётливо и была ясной, как роса.

Я закончил, отложил его и сидел, приходя в себя. Постепенно ко мне стали возвращаться ощущения жизни: я заметил, что уже вечер, что в окнах соседнего дома зажгли свет, что у меня в комнате сумерки и в открытое окно, у которого я сижу, летят детские крики – во дворе играли в мяч. Я понял, что всё это настоящее, что всё это происходит со мной – и тихо рассмеялся.

И тут сзади вздохнула Катя. Я обернулся – она стояла и смотрела на меня. «Как хорошо, – сказала она. – А я боялась уже, что ты никогда не вернёшься». Я засмеялся, подошёл к ней и обнял. Я был в тот момент очень счастлив.

И в ту же ночь увидел новый сон.

Сон V

Я – не я: некий дух, бесплотный и бестелесый, одно присутствие и сознание. Вижу я далёкий сибирский острог, окружённый тайгой, островок жизни. Казачья служба непыльная, но уж очень тоскливая. Правда, то хорошо, что нынешний офицер был с казаками добр, не порол, не ставил под ружьё и не сажал на крышу в мороз петь петухами, если встречал пьяных, а добивался порядка одним человеческим обхождением. И сам был столь тих и кроток и таким обладал росистым взглядом, что его все любили и слушали с охотой. Кроме того, он казаков любил, знал их песни и сам голос имел сильный и светлый. А если собирались плясать, умел подыграть на зубанке, и балалайки не надо, так шибко играл, хоть и не барское это дело.

Но всему приходит конец, и вот переводили его из острога: наутро ехал он в Томск, а на его место уже прибыл новый начальник, и чего ждать от этого – никто не знает. Ходят казаки по крепости тихие и даже за добрую дорогу пока не решаются пить – нечай, как оно обернётся.

Офицер же сдал преемнику дела, сундуки его собраны, и ждут казаки, чтобы сделать проводы, – но он всё не идёт. Со священником, отцом Федотом, ходят по крепостному валу и беседуют уже час. Но оно и ясно: всего их и было в остроге два образованных человека, за эти годы сдружились и вот расстаются. Есть о чём поговорить. Вот и шагают две тёмные фигуры на фоне заснеженных сосен, батюшка руки за спиною сцепил, а капитан что-то держит и на таком морозе всё не прячет рук в рукавицы.

– А как же тогда – совершенство? Разве совершенное искусство не делает нашу жизнь прекрасной? – слышу я слова офицера и вижу его самого и узнаю в нём Александра Турчанинова. Только как же сильно он изменился!

– Совершенство принадлежит только господу, – отвечает священник. – Мы – существа ограниченные. Мы не способны ни постичь, ни прикоснуться к нему.

– Я бы хотел с вами согласиться, но не могу, – говорит Александр. – Понимаете, в таком случае пропадает всякий смысл. Я себе так мыслю: господь, создавая нас, вложил в душу всякого частицу себя. И эта частица есть то эталонное совершенство, наш внутренний камертон. И когда одарённый человек, художник ли, скульптор, литератор или музыкант, стремится создать нечто, приближая его от раза к разу к этому совершенству, что чувствует у себя в душе, – мы тем самым как бы воссоздаём бога по своему образу, приближаемся к нему в наших творениях, как и он создал нас по своему подобию и растворился в нас.

Отец Федот слушает его с изумлением. Качает головой:

– То, что вы говорите, друг мой, так противоречит христианскому учению, что, не зная я вас за воцерковлённого человека, счёл бы ваши слова ересью. Не впадайте в мудрствование, Александр. Совершенство, о котором вы говорите, это искушение упрямого и гордого сердца. Простые люди говорят – чёрт попутал, – усмехается поп. – Но мы-то с вами образованные и знаем, что нет беса помимо нашей гордости.

– Знаете, батюшка, я бы тоже так думал, если бы мне не довелось с ним повстречаться, – говорит Александр, и поп крестится, глядя на него. Александр слегка усмехается и добавляет: – Я имею в виду, совершенство среди нас, грешных, как вы изволите судить.

– Не пойму, о чём вы? В чём же оно? – спрашивает поп недовольно, поняв свою ошибку.

– Иной раз в самых простых и скромных людях. В тех, кто не умеет о нём и помыслить. Так посмотришь на него – ведь пьянь распоследняя, ничего за душой, а как запоёт – сердце плачет, а душа словно господу узрела.

– Э, батюшка, это не зависть ли в вас? – усмехается отец Федот, глядя на собеседника с прищуром. Тот останавливается. Даже в темноте видно, как напряжено его лицо.

– Может быть, – отвечает не сразу. – Весьма может быть, что и зависть. Зависть к той простоте, с которой другому это даётся, тогда как ты должен ломать себя, душу свою корчевать с кровью. И всякий раз душить в себе страх – а что, если не запоёт, так чисто и хорошо не запоёт, как требует моя личная мера совершенства.

– А она у вас высока, батюшка! – смеётся снова поп.

– Высока. Это верно. Но я знаю, что можно достичь и её. А вы говорите: то искушение, дьяволово искушение. Но кто же сказал вам, что не может и дьявол желать от нас совершенства, или даже так – что и он по-своему не служит господу, добиваясь от нас совершенных творений, пусть даже ценой искуса?

– Вы договоритесь сегодня, батюшка! – замахал на него отец Федот. – Уж не дьяволова ли наущения наслушались сами-то?

– А если и так? Если удостоился? – отвечает вдруг Александр, и голос у него нехороший.

– Чего удостоились? – спрашивает поп, вглядываясь ему в глаза.

– Наущения, как вы изволите выражаться.

– Господь с вами, Александр Николаевич, голубчик! О чём вы, я вас не понимаю! – испуганно вздыхает поп.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.